



Н. Н. СУХАНОВ

**<«...Политическая карьера
бурного темпераментом, слабого духом,
расхлябанного русского интеллигента»>**

В качестве дополнения или подстрочного примечания ко всему вышеописанному, может быть, здесь будет уместно сказать несколько слов о Керенском. Конечно, я заранее отказываюсь от малейшей попытки дать не только историческую характеристику, а и сколько-нибудь законченный «силуэт». Но несколько слов о Керенском мне представляются здесь весьма небесполезными, просто как такой комментарий к изложению, без которого многое и многое, по-моему, проиграет в своей ясности или в своей яркости.

Керенского я знаю уже довольно давно, со времени моего возвращения из архангельской ссылки, после которой я переселился из Москвы в Петербург, в самом начале 1913 года. Начиная с этого времени, мои сношения с ним — и на почве общественно-деловой, и на почве личного знакомства — представляли собой если не очень плотную, то, во всяком случае, непрерывную цепь. Я видел Керенского в самой различной обстановке, во всевозможных видах, начиная с адвокатского фрака в суде, продолжая думской визиткой или пиджаком в больших и малых собраниях и кончая его ослепительно-пестрым туркестанским сартским халатом, который он вывез со своей родины.

Я был свидетелем десятков его больших и малых выступлений в качестве думского оратора, политического референта, информационного докладчика, интимного рассказчика, собеседника в тесных кружках, не превышающих 3–5–7 человек, и, наконец, я видел его в качестве отца семейства — с женой и двумя его мальчиками. Видел я его и за деловой, будничной, кропотливой работой во фракции «Трудовой группы», председателем которой он состоял.

Во время моего нелегального положения я много-много раз ночевал у него на Загородном проспекте, 23, и нередко после того,

как он устраивал для меня постель в своем кабинете, начинались длиннейшие, истинно русские разговоры один на один, до глубокой ночи. Не раз он являлся ко мне в «Современник», по обыкновению как буря врвался в переднюю, оставив неотлучную пару своих «шпиков» караулить у подъезда редакции и заставляя меня потом удваивать меры предосторожности.

<...>

Начиналось всегда с информации, с рассказов депутата, ваврившегося в самом котле, в самом пекле новостей и тогдашней убогой общественности. Но эти рассказы немедленно и постоянно переходила в самую язвительную полемику, в самый отчаянный спор. Эти споры как будто никогда не кончались озлоблением, они оставались без влияния на личные отношения. Но никакое наше взаимное «признание» и никакая интимная обстановка не могли ни на минуту заглушить сознания, что мы не сходимся ни в чем, что к каждому партийному (или, точнее, межпартийному) и к каждому общественно-политическому вопросу мы подходим с равных концов, что мы мыслим о нем в разных плоскостях, что мы в результате люди из двух лагерей в политике, из двух миров — по умонастроениям...

Да, тяжелое бремя история возложила на слабые плечи!.. У Керенского были, как говаривал я, золотые руки, разумея под этим его сверхъестественную энергию, изумительную работоспособность, неистощимый темперамент. Но у Керенского не было ни надлежащей государственной головы, ни настоящей политической школы. Без этих элементарно необходимых атрибутов незаменимый Керенский издыхающего царизма, монополюный Керенский февральско-мартовских дней никоим образом не мог не шлепнуться со всего размаха и не завязнуть в своем июльско-сентябрьском состоянии, а затем не мог не погрузиться в пооктябрьское небытие, увы, прихватив с собой огромную долю всего завоеванного нами в мартовскую революцию.

Но он был действительно незаменим и монополен. Для меня, как видно будет из дальнейшего, уже тогда не могло быть сомнений в линии его политического развития. Но также, несомненно, было для меня, что именно Керенский с его «золотыми руками», с его взглядами и направлением, с его депутатским положением, с его исключительно широкой популярностью волей судеб назначен быть центральной фигурой революции, по крайней мере, ее начала.

В последние встречи до февральских дней, когда чувствовалась близость какой-то радикальной развязки, мы неоднократно заводили речь о том, что можно сделать и что надлежит делать различным общественным группам, какие мероприятия в Петербурге и в про-

винции необходимы были бы в первую голову в момент взрыва и после взрыва... Без надлежащей веры в серьезность своих разговоров, предположений и рассуждений в интеллигентских кружках, с участием Керенского, немало говорилось о «планах и схемах» переворота. Я совершенно определенно высказывал, что так или иначе Керенскому придется стать в центре событий. И он не спорил с этим, не ломаясь и не напуская на себя смирения паче гордости.

Помню, совсем незадолго до Февраля, я зашел к нему во время его болезни в праздничный день на последнюю приватную квартиру на Тверской, около Смольного, где большевистские власти произвели потом такой лихой «обыск» у его жены, больше напоминающий военную экспедицию... Керенский сидел в кабинете один, в теплой серой фуфайке, стараясь согреться в холодной комнате. В руках у него была новая книжка «Летописи», и он не замедлил обрушиться на меня с полемическими сарказмами. Но потом разговор неожиданно принял мирный, умозрительный характер насчет грядущих событий и революционных перспектив. И помню, я мягко упрекал его за его вредные взгляды, серьезно и без задора ставил на вид то, что мне казалось ошибками в его словах, и то, что мне казалось слабыми его сторонами. При этом я исходил именно из того и прямо указывал на то, что в близком будущем ему, Керенскому, придется быть во главе государства. Керенский не прерывал и молча слушал. Может быть, в то время он только мечтал о министерстве Керенского, а может быть, серьезно думал и серьезно готовился к нему... Но, увы, тяжкое бремя история возложила на слабые плечи.

Теперь, когда Керенский политически мертв, когда почти нет надежды на его воскресение (ибо вес его утрачен во всех сферах), теперь нет ничего легче, как положить лишний камень на эту политическую могилу и успокоиться в сознании правильности данной исторической оценки. Меня, однако, не особенно соблазняют подобные лавры. Я был убежденным политическим противником Керенского со дня первого знакомства с ним; я яростно изо дня в день «травил» Керенского и его политику в дни его высшей власти на столбцах распространенной и, несомненно, влиятельной среди масс газеты*; я достаточно доказал в дни его власти и славы, какое значение я придаю его шуйце, не дожидаясь, пока этот знаменосец великой демократической революции лично распорядится (из государственных соображений) о закрытии

* Так, в официальном правительственном сообщении подручный Керенского кадет Терещенко назвал «Новую жизнь», непочтительно отозвавшуюся о сэре Бьюкенене.

этой «презренной» газеты. И я ни в какой мере до сей минуты не в пример тысячам его рыцарей, не замедлившим затем продать свои грошевые шпаги, не изменил моего мнения об этом деятеле.

Но тем с большим правом, тем с большим удовольствием, тем с большими надеждами на доверие я могу теперь, после гибели этой «политической репутации», отметить и подчеркнуть десницу этой личности. Это будет только справедливо и только правильно по существу.

И прежде всего — перед лицом ныне торжествующего и проклинающего Керенского большевизма, перед лицом, несомненно, состоявшегося союза Керенского с силами буржуазной реакции против демократии, перед лицом «дела Керенского — Корнилова», перед лицом того факта, что Керенский по мере сил действительно удушал революцию и больше, чем кто-либо, довел ее до Бреста¹, — я утверждаю: Керенский был искренний демократ, борец за торжество революции — как он понимал ее. Ему было, заведомо для меня, не под силу осуществить его добрые намерения. Но на нет и суда нет. Это касается его недостаточных объективных ресурсов как деятеля, а не его субъективных свойств как личности. Я утверждаю: Керенский действительно был убежден, что он социалист и демократ. Он не подозревал, что по своим убеждениям, настроениям, тяготениям и вкусам он самый настоящий и самый законченный радикальный буржуа, а в своей политике он воплощает самую доподлинную систему предательства демократии и защиты узкоклассовых интересов капитала.

Дело, однако, вот в чем: в личности Керенского демократизм и борьба за революцию, не в пример многим другим политическим фигурам, были далеки от той беззаветности, которая граничит с отрешением деятеля от самого себя. Керенский не только никогда не был способен на самозаклание, но был положительно честолюбив всегда, а в революции его основательное честолюбие уже перешло в такое же властолюбие.

Другая сторона дела, пожалуй, еще важнее. Он, Керенский, настолько верил в свои силы, в свое провиденциальное назначение, что не отделял собственной деятельности, собственных успехов, собственной карьеры от судеб современного демократического движения в России. Отсюда произошло то, что Керенский не только воображал себя социалистом, но и вообразил себя немножко Бонапартом.

Такое убеждение или такие настроения естественно возникли в нем на основе двух факторов, одним из них было его объективное положение наиболее яркого и популярного выразителя идеи демокра-

тии в эпоху четвертой, столыпинской Думы и центральной фигуры революции в период ликвидации царизма. Другим фактором была именно слабость его объективных ресурсов, неспособность к надлежащей оценке явлений и наивная переоценка собственных сил.

Его бурный, туркестанский темперамент способствовал уже прямо тому, что в революции его голова не замедлила просто закружиться от грандиозных событий и его места среди них. А его несомненная врожденная склонность к торжественности, декоративности, театральности довершила дело к эпохе его президентства в революционном правительстве. И если припомнить, что в результате своей сверхчеловеческой, самой нервотрепательной работы он был уже истрепан ко времени революции, то будет ясно: революционный министр Керенский не мог не превратиться в самого безудержного, заносчивого, запальчивого и раздраженного, склонного к самодурству, не способного воздержаться от самых рискованных авантюр крикуна с замашками самодержца без власти, с приемами оракула без знания и понимания.

«Хвастунишка-Керенский» — этот эпитет Ленина², конечно, ни в какой мере не исчерпывает, но он правильно намечает и, упрощая, схематизирует характерный облик Керенского: именно таким он должен представляться извне поверхностному равнодушному взору, не желающему углубляться ни в оценку личности, ни в выяснение ее роли в революции. Все это несомненно. Но все это совершенно не колеблет моего убеждения в том, что Керенский был искренний демократ. Ибо если он наивно не отделял своей личности от революции, то он сознательно никогда не ставил свою власть и свою личность выше революции и никогда интересы демократии сознательно не мог приносить в жертву себе и своему месту в истории.

Он искренне верил в правоту своей линии и искренне надеялся взятым курсом привести страну к торжеству демократии. Он жестоко ошибался. И его жестокие ошибки я лично по мере сил публично разоблачал тогда же. Но слабый политик, без школы, без мудрости государственного человека, Керенский был искренним в своих заблуждениях и *bona fide* [чистосердечно (*лат.*)] зарывался в своей антидемократической политике, закапывая вместе с собой революцию в меру своего действительного влияния.

Свою действительную преданность революции Керенский, на мой взгляд, доказал достаточно еще в эпоху царизма. В своей деятельности он умел ставить на карту не только свое положение адвоката и депутата, действуя как профессиональный революционер, идя без колебания на такие шаги, которые могли легко и быстро кончиться Сибирью

или Якуткой по лишении его всех прав адвокатства и депутатства. При яростной ненависти к нему всего департамента полиции, как к центру легального и полулегального «левого» движения, ему случилось быть на волоске от этого (например, после дела Бейлиса) и избавляться от таких перспектив лишь в силу внешних обстоятельств. Но этого мало: Керенский принимал самое непосредственное участие в партийных эсеровских делах; при этом он так злоупотреблял своим депутатским положением и своей популярностью, что, живя под самым тщательным, неослабным и всесторонним наблюдением полиции, он считал правила конспирации обязательными только для других и, не стесняясь, запутывал себя бесчисленными уликами для самых серьезных жандармских и судебных политических дел. Незадолго до революции при содействии одного эсеровского провокатора, бывшего в постоянных сношениях с Керенским, он попал в историю настолько грязную, что близкое окончание депутатских полномочий или всегда возможный внезапный роспуск Государственной думы почти обеспечивали ему если не виселицу (по военному времени), то каторгу. Избежать их можно было бы только своевременной эмиграцией. Керенский знал это и сознательно шел на это...

Было бы грубой ошибкой, если бы кто-либо стал утверждать, что для Керенского как типа общественного деятеля, а также и для его политики характерно его направление, система его политических воззрений. Я утверждаю, что у Керенского и не было никакого строго выработанного направления, никакой сколько-нибудь законченной системы воззрений.

У этого бурно-пламенного импрессиониста, лидера одной, открытой, партии (трудовиков) и деятельного члена другой, подпольной (эсеров) вместо политической системы было лишь умонастроение, колеблемое в значительных пределах политическим ветром и притягательно-отталкивающими силами других общественных групп. В конце концов, он был равнодушен и к своему «трудовизму», и к своему «эсерству»; и он не особенно заботился о том, чтобы заострить, рафинировать свои взгляды в ту или в другую сторону, оставаясь только левым радикальным интеллигентом, легко совмещающая подполье с широкой открытой ареной...

По своему умонастроению, по своему положению радикального интеллигента Керенский, естественно, примыкал к оборонческому лагерю во все время войны. При всем том его думские военные выступления были не только более яркие и интересны, но гораздо сильнее били по идее отечественного бургфридена, чем киселеобразный «циммервальдизм» думской социал-демократической

фракции (удостоившейся приветствия Либкнехта и Р. Люксембург). Руководимая же Керенским «Трудовая фракция», считавшая за благо прятать под фигурой умолчания свое отношение не только к социализму, но и к идее монархии, фракция, не имевшая ни малейшего отношения к Интернационалу, первая заявила у нас о своем отказе в военных кредитах.

Свое оборончешское умонастроение Керенский никогда не мог возвысить до системы взглядов, несмотря на то что эту работу на его глазах произвела целая плеяда социалистических писателей и он мог прийти на готовое. Но вместе с тем он рвал и метал против «пораженчества», которым не гнушался крестить всякий интернационализм со дня его появления на русской почве. И он же в качестве защитника на суде над большевистской думской фракцией дал такую легальную защиту «пораженчества», до какой не сумели возвыситься представители ленинской группы...

Отношение к войне, к обороне и гражданскому миру, к методам политической борьбы во время войны было, как известно, центром всякой политической позиции в последние годы перед революцией. И для позиции Керенского вместе с подручной ему группой интеллигентной молодежи у меня не было иного слова, как «болото». Не система законченных разработанных взглядов, правильных или неправильных, социалистических или буржуазных, а вязкое и нудное болото.

Однако при всем том нельзя сказать, что мысль Керенского была вообще чужда теоретической работе, что она была ленива к ней, что Керенский не интересовался теориями и течениями, недооценивал их, сознательно пренебрегал ими. Напротив, на его столе я постоянно видел пачки писем со всех концов России, которые не распечатывались им неделями, пока на помощь не приходила его жена. Но на том же столе я всегда находил несколько новых журналов, где все сколько-нибудь актуальные статьи принципиального характера были всегда разрезаны, обыкновенно исправно прочитаны и нередко с жаром и с задором разнесены в полемическом разговоре.

Я хорошо знаю на себе, как автор, тот интерес, какой проявлял Керенский к работе мысли в своем и чужом лагере. Мои статьи и брошюры в своем водвороте он прочитывал немедленно, раньше, чем их успевали одолеть десятки других моих петербургских знакомых, для которых чтение подобной литературы могло бы считаться обязательным. И он не упускал случая, не дожидаясь встречи, хотя бы по телефону осыпать меня сарказмами по поводу содержания моих «пораженческих» писаний.

Керенский живо интересовался теоретической работой, он меньше всего ленился использовать ее, но все же ему решительно не удавалось построить систему взглядов. Все мало-мальски намечавшиеся основы таких построек немедленно поглощались его кипящей и бурлящей, неустанной, хотя бы и бесплодной практической работой. Все зачатки теоретической системы, хотя бы не самостоятельной и заимствованной, рушились под напором его собственного темперамента. И на посту министра-президента Керенскому пришлось остаться тем же, чем он был в роли агитатора, лидера парламентской «безответственной оппозиции», если угодно, в роли народного трибуна: беспочвенником, политическим импрессионистом и, увы, интеллигентным обывателем...

Но, повторяю, не это отсутствие сколько-нибудь прочного теоретического базиса, сколько-нибудь продуманной системы есть наиболее характерное в Керенском и наиболее определяющее в его политике и его исторической роли. Он был по природе агитатором, лидером оппозиции, народным трибуном. Но он не был по природе государственным человеком. Не имея под собой устойчивого теоретического фундамента, Керенский ее имел и верного практического инстинкта, сколько-нибудь пригодного для работы в общегосударственном масштабе. Не отдавая себе теоретически должного отчета в окружающих его общественных процессах, он и на практике не видел даже самых очевидных подводных камней, грозящих неизбежной катастрофой, определенно предсказываемой злонамеренными агитаторами, в которых он, как всякий слабый и беспомощный политик, был склонен видеть корень зла.

Не умея смотреть в корень, наблюдать и обобщать, он был заведомо не способен нащупать в процессе работы надлежащий фарватер, по которому только и можно было кое-как, хотя бы не без членовредительства, протащить государственный корабль среди невиданной бури мировой войны и революционной встряски, всколыхнувшей народные волны до самого дна. Он не только не понимал, не оценивал, не видел тех сил, которые на его глазах схватились в яростной свалке, которые исходом своей борьбы только и могли определить судьбу революции. Он с полной наивностью не разбирался и в самом конкретном положении «революционной власти», ни в какой мере не представляя себе ее действительной роли, ее места, ее возможностей среди борющихся организованных сил и среди разгулявшейся стихии. И он не отдавал себе никакого отчета в собственном своем положении, которое в течение долгих недель и месяцев было явным «ridicule» [смешным (*лат.*)].

Если бы все это было не так, то для Керенского у меня не нашлось бы иных эпитетов, подводящих итог всей его роли в революции, кроме эпитетов: злостный авантюрист и изменник демократии. Но я настаиваю: Керенский был искренний слуга демократической революции. И личность этого злостно-обанкротившегося деятеля не должна отойти в историю с клеймом предателя тех принципов, какие он открыто провозглашал. Не его вина, если его слабые, совсем неподходящие плечи не вынесли насильно возложенной на них непомерной задачи. Ему было суждено стать «математической точкой» скрещения жестоких и непонятных ему сил революции. В этом такая беда его, какой он с избытком искупил свою сознательную вину, свои сознательные компромиссы, проступки и преступления перед принципами демократии и свободы.

Отсутствие сколько-нибудь достаточных ресурсов государственного человека — это, конечно, наиболее характерное для Керенского как данной и законченной исторической личности. Это характерно для него вообще с любой точки зрения — и с правой, и с левой. Я хотел бы сказать два слова о том, чего именно недоставало в Керенском и каков он был по существу, по своему положительному содержанию в частности, в особенности, с моей точки зрения.

Керенский принадлежал к числу социалистов народнического толка. На языке марксистского социализма это означает, что Керенский был мелкобуржуазным демократом. И это его классовое положение, эта его классовая идеология должна была определять его устремления и его тяготения в политике.

Но это не все. Керенский был интеллигентом, не только не вышедшим из недр народного, пролетарского или мелкобуржуазного движения, не только не связанным с ним корнями, но и не имеющим к нему ни вкуса, ни практического интереса. Его демократизм был интеллигентским народолюбием, его вышеописанные «конспирации» были субъективной данью принципу и «меньшому брату». По своим стремлениям, вкусам, повседневным интересам, связям это не был участник социалистического массового движения. Это был столичный адвокат, всеми корнями связанный с петербургским радикальным и либеральным обществом. Это был необходимый элемент и заправила столичных интеллигентских кружков, варящихся в собственном соку под знаком социализма, обыкновенно «народнического», — таких кружков, для которых народ все еще продолжал оставаться абстрактной идеей, а не конкретным материалом для их работы и не основным субъектом демократического движения. Кружки эти тяготели больше к верхам, испытывая род недуга при соприкосновении с низами.

Правда, эти соприкосновения Керенского с низами были довольно часты, можно сказать, постоянны. Я зачастую видел в его домашней приемной и в кабинете многочисленных крестьянских ходоков, а также и рабочих, приходивших со своими нуждами, с информацией, за советами к популярнейшему «социалистическому» депутату. Но меньше всего эти сношения могли свидетельствовать о тяготении Керенского в эту сторону. Рабочие и крестьяне ходили к Керенскому, но не он к ним.

Не в пример деятельности, приемам, образу жизни социал-демократических депутатов обеих думских фракций, проводивших огромную часть своего времени в рабочей среде, постоянно посещавших заводы и те зачатки рабочих организаций, какие имелись при царизме, — не в пример им Керенский был совершенно чужд подобному препровождению времени. Как ни необходимо это было в некоторые моменты, как ни монополю было в этом отношении депутатское положение Керенского, на заводе, в профессиональном союзе, в больничной кассе его было встретить нельзя. Зато, например, когда уезжал добровольцем на войну кадет Колюбакин³, то проводы на вокзале, конечно, не могли обойтись без представителя демократии в лице Керенского, и это было в порядке вещей.

К низам, к массам и их движению Керенского привязывала теоретическая идея, «сознание долга». Он считал необходимым от них «исходить» в своей общественной работе. Но он рвался от них в иные сферы, к иным приемам работы, где он чувствовал себя как дома.

Именно эти свойства его так ярко, так законченно воплотились во всем его положении в революции, которое мне придется, по личным моим наблюдениям и воспоминаниям, описывать на дальнейших страницах.

Эти свойства Керенского, можно сказать, классически проявились в его отношениях к Временному правительству и Совету рабочих депутатов, в его шатаниях между дворцами Таврическим и Мариинским (а затем Зимним). И эти же свойства сполна определили результаты этих шатаний, а вместе с тем общий характер, общие итоги политики Керенского, можно сказать, его общую роль в революции. Он не мог не изобразить из себя Микулы Селяниновича⁴, не мог не приложиться к массам, не зачерпнуть сил и прав у подлинной демократии. Но он не мог тут же, немедленно, не взвиться в иные сферы, как вырвавшийся с привязи азростат; не мог не оторваться от этой пытавшейся удержать его «толпы» безвозвратно и не исчезнуть для нее навсегда.

Здесь есть самое характерное для Керенского. Это лежит в основе всей его работы в революции. Для характеристики Керенского эти

черты следовало бы развить и описать подробнее. Но это значило бы предвосхищать дальнейшее изложение, из которого пришлось бы черпать бесчисленные иллюстрации к настоящим строкам. Поэтому мы оставим нашу специальную экскурсию в пределы характера нашего первого «министра от демократии». К дальнейшим моим запискам все сказанное о нем послужит достаточным комментарием. Для характеристики же Керенского дадут без числа комментариев дальнейшие записки.

<...>

Я пробрался через весь дворец в комнаты Совета, где уже кипела работа нарождающегося советского делопроизводства. Мне сейчас же подсунули какие-то бумаги, но меня немедленно оторвали от них, сообщив, что меня по экстренному делу ищет Керенский, который был здесь, но сейчас неизвестно где.

Я пустился в обратный путь отыскивать Керенского. Все говорили о царе, спрашивали, что решено с ним сделать, говорили, что нужно сделать.

Керенского я застал в одной из комнат думского Комитета, в жаркой беседе с Соколовым. Керенский обратился ко мне, продолжая эту беседу. Дело было в том, что большинство думского Комитета предлагало ему вступить в образуемый цензовый кабинет. Керенский хотел поговорить на этот счет, между прочим, со мной, чтобы выяснить примерное отношение к этому делу влево стоящих лиц и групп, а также руководящего ядра Совета.

Ни в Исполнительном комитете, ни в Совете эти вопросы еще не ставились, и говорить об этом было преждевременно. Но мое личное отношение к этому делу я высказал Керенскому тут же с полной категоричностью и имел случай повторить ему мое мнение дважды за эти сутки.

Я сказал, что я являюсь решительным противником как принятия власти советской демократией, так и образования коалиционного правительства. Я не считаю возможным и официальное представительство социалистической демократии в цензовом министерстве. Заложник Совета в буржуазно-империалистском кабинета связал бы руки демократии не только в ее стремлении довести до конца великую национальную революцию, но и в осуществлении ставших перед нею грандиозных международных задач... Вступление Керенского в кабинет Милюкова в качестве представителя революционной демократии совершенно, на мой взгляд, невозможно.

Но, продолжал я, если речь идет о личном мнении, то индивидуальное вступление Керенского как такового в революционный

кабинет я считал бы объективно бесполезным. В цензовом кабинете демократические слои имели бы заведомо левого человека. Это придало бы всему кабинету большую устойчивость перед лицом стихийно ползущих влево масс, а устойчивость первого революционного правительства на ближайший период (исчисляемый хотя бы немногими неделями) я считал крайне желательной. Вместе с тем Керенский мог бы чрезвычайно усилить левое крыло в будущем правительстве и не дать ему зарваться в реакционной или империалистской политике при первых же шагах; это сделало бы неизбежным преждевременный кризис и уничтожило бы основной смысл создания цензового кабинета при реальной силе в руках демократии.

Индивидуальное вхождение Керенского в правительство Милюкова я считал объективно бесполезным. С другой стороны, как говорил я ему тут же, своеобразное положение Керенского делало это вполне возможным. Керенский не связан формально ни с какой социалистической партией и лидирует всего лишь «Трудовую группу», которой нет никакого дела до Интернационала, которому нет дела до нее.

Конечно, Керенского не мог удовлетворить такой ответ... Ему явно хотелось быть министром. Но ему нужно было быть посланником демократии и официально представлять ее в первом правительстве революции. Он отошел от меня более чем неудовлетворенный. Я же повлек Соколова открывать заседание Исполнительного комитета, где надо было не откладывая поставить вопрос о власти, об ее программе и об отношении к ней Совета. <...>

Персонально, применительно к Керенскому, я по-прежнему считал бесполезным его участие в министерстве, но никак не в качестве представителя советской демократии. Кроме того, я указал, что поднимать в Совете этот вопрос я считаю небезопасным для решения вопроса о власти вообще. Если Керенскому придется поставить вопрос о том, какая по природе должна быть власть, то он, пожалуй, может получить ответ: власть должна принадлежать советской демократии. Проблема слишком трудная, слишком новая и сложная для «советского митинга»; при данном размахе движения она нашей постановкой слишком заострена вправо и может с чрезвычайной легкостью настолько далеко скатиться влево, что могут быть сорваны не только все «комбинации», но и сама революция.

Как бы то ни было, Керенскому для его практической цели предстояло либо сложить свое советское звание и поступать, как знает, независимо от Совета; либо объяснить с Советом «в частном порядке» и объявить ему, что он непременно хочет быть министром, но в силу решения Исполнительного комитета он слагает с себя

советское звание и просит одобрить такой его образ действий; либо апеллировать к Совету и добиваться иного его решения о власти, чем было принято в Исполнительном комитете. Или, наконец, совершить «*coup d'état*» [государственный переворот (*фр.*)] и, пока еще решение Исполнительного комитета неизвестно Совету или не обсуждалось им, обратиться непосредственно к Совету в нарушение воли Исполнительного комитета, игнорируя его постановление.

Видя, что Керенский непременно хочет быть министром и не откажется от министерства ни в каком случае, я настоятельно убеждал его пойти по любому из двух первых путей. Керенский отвечал неопределенно, обдумывая свой план, и умчался в правое крыло. <...>

Здесь надлежит специально отметить следующее обстоятельство. Постановление Исполнительного комитета о неучастии в кабинете цензовиков состоялось накануне. Невзирая на него, Керенский обратился 2 марта к Совету с просьбой делегировать его в министерство с оставлением в звании товарища председателя Совета рабочих депутатов и покинул трибуну, а вместе с тем и зал заседания без формального постановления Совета. Он счел себя министром, оставленным в советском звании, основываясь на устроенной ему овации. Это было в начале заседания, до резолюции.

Между тем в том же заседании было принято постановление против 15 голосов, в силу которого официальные представители советской демократии не могут входить в правительство. Вывод ясен: Керенский, оставшись министром после этого постановления, или нарушил волю Совета, за что подлежал ответственности в особом порядке, или механически перестал быть с этого момента товарищем председателя Совета рабочих депутатов.

Более чем вероятно, что Керенский искренне заблуждался в своем положении, считая, что все советские решения суть не стоящая внимания вещь, которую он в мгновение ока повернул по-своему; придя, увидев и победив. Признаками этого искреннего заблуждения могут служить его речи в тот же вечер, где он весьма невинно ссылаясь на только что принятую резолюцию, рекомендуясь министром и представителем демократии...

Впрочем, надо сказать, что Керенский, хорошо оценивая для себя значение советского клейма, все же совершенно пренебрегал своим советским званием, просто забывая о нем при своих сношениях с «публикой»: его настоящая сфера, где он чувствовал себя как рыба в воде, была далека от демократии и ее организаций. Весьма характерно для его психологии, что о своих формальных отношениях к Совету он упоминал лишь в особых случаях, присвоив себе в это

время столь же наивное, сколь нелепое постоянное звание «министр юстиции, член Государственной думы, гражданин Керенский»...

Все это я говорю к тому, что в дальнейшем, когда поведение Керенского-министра понемногу становилось невыносимым, шокирующим и подозрительным, в Исполнительном комитете возникал не раз вопрос о формальном положении Керенского и о том, что предпринять по отношению к нему. Правая часть Исполнительного комитета тогда настаивала на полной формальной и фактической лояльности Керенского. Но, в частности, она забывала или, подобно «большой публике», не знала самого «генезиса» положения, то есть вышеизложенных фактов. <...>

Керенский, как известно, с первого же момента совершенно отошел от демократических организаций и ни разу не появлялся ни в Исполнительном комитете, ни в Совете (за исключением вышеописанного выступления в солдатской секции, случившегося не по его вине). Летая из Петербурга в Москву, из Москвы в Финляндию, из Финляндии в Ставку и т. д., вращаясь исключительно в буржуазных сферах и среди своих друзей более чем сомнительного демократизма, Керенский действовал так, как бог ему на душу положит или как его инспирируют окружающие. Он продолжал себя считать товарищем председателя Совета и советским ставленником в министры. Трудно представить себе, как мог он при таких условиях не чувствовать себя подотчетным Совету, не апеллировать к нему в своих важнейших актах, не выработать линию своей политики в контакте с его руководителями, не сотрудничать и в советских, и в министерских делах с Исполнительным комитетом... Для такого поведения было явно недостаточно общего внутреннего, психологического недемократизма или хотя бы властности натуры: для этого нужны были именно импульсы «бонапартика», игнорирующего общественность.

Во всяком случае, такое поведение было из рук вон. Керенский ни о чем не спрашивал Совет, но Совет отвечал за Керенского. Для советских руководителей такое положение дел, казалось бы, должно быть нестерпимо. И действительно, многие советские деятели были шокированы поведением Керенского и уже несколько дней приватно поговаривали об этом. Но никаких решительных шагов пока не предпринимали.

Все это еще можно было бы кое-как претерпеть, если бы дело шло только о формальности, если бы Керенский в своих действиях обнаруживал понимание и такт. Но он не обнаруживал ни того, ни другого. Прежде всего, уже самое его самочинство, самое пренебрежение Советом было и бестактностью, и непониманием. Для

Совета надо было найти время, как для дела более важного, чем порханье по некоторым иным местам, где результатом были только овации и обывательское поклонение. А затем бестактность и непонимание стали сопутствовать чуть не ежедневно и разным активным выступлениям Керенского.

Подпись под воззванием к полякам не была, к несчастью, включением. Несколько дней тому назад Керенский ни с того ни с сего заявил публично о необходимости интернационализировать Константинополь. Вполне понятен «интерес», с которым откликнулась на это иностранная пресса. Но советской демократии, именем которой действовал Керенский в условиях свирепой европейской цензуры, этим наносился серьезный тыловой удар...

Газеты сообщали из Ставки, что «представитель демократии», обращаясь к войскам, пошел значительно дальше других министров, призывавших к стойкости, к победе и войне до конца. Керенский сказал, подчеркивая «общую решимость продолжать войну до победы»: «Лишь после победы возможно созвать Учредительное собрание...» Это не только удар, это — противоречие со всем тем, чего на глазах Керенского добивался и добился Совет от буржуазии.

И даже в пустяках, как бы делая сознательный вызов демократии, Керенский не хотел проявлять такта. В Ставке, опять-таки не в пример прочим министрам, он обратился к генералу Алексееву:

— Позвольте мне в знак братского приветствия армии поцеловать вас как верховного ее представителя и передать родной армии привет от Государственной думы!..

Что ни слово — золото! Фактов вообще было слишком достаточно, чтобы быть шокированным и прийти в беспокойство каждому советскому деятелю. Перебирая подобные факты, мы, в общем, сходились в их оценке. Даже Брамсон очень слабо, лишь «по должности» защищал своего бывшего партийного товарища, только что покинувшего трудовиков для достойного возглавления эсеров... Но, спрашивается, что же делать, какие же принять меры обуздания расходившегося темперамента?

Я считал такое обуздание вообще безнадежным и отстаивал радикальные меры иного порядка. Не считая Керенского формально представителем Совета и членом его президиума с тех пор, как он вопреки советскому постановлению пошел в министры, я настойчиво предлагал объявить об этом официально, предварительно попытавшись вызвать Керенского на объяснения...

Но прежде всего оспаривалась моя «юридическая концепция». Это привело к экскурсам в область истории, в область минувшего две

недели назад, но уже основательно затертого в калейдоскопе исторических событий. Я отстаю свою версию и даже взялся воспроизвести ее письменно, согласно пожеланию присутствовавших. Но относительно Керенского решили только то, что дело о нем не миновать вынести на обсуждение Исполнительного комитета. Неприятное было дело...
<...>

Все это разом началось с самого дня образования нового кабинета. И все это прямо связывалось с ним. Атмосфера вдруг насытилась еще невиданным в революции шовинизмом. Милитаристские атаки с давно забытой наглостью посыпались со всех сторон. 10 мая на Всероссийском крестьянском съезде эсеровский шовинист Бунаков⁵ при громе аплодисментов предавал анафеме «сепаратное перемирие, которое хуже сепаратного мира» и призывал «все вдохновение, всю волю вложить в призыв к наступлению, когда товарищ Керенский отдаст приказ». «Мы пошлем, — говорил Бунаков, — своих депутатов на фронт, чтобы они красными знаменами “Земля и Воля!” благословили нашу армию к наступлению»... Речь эту «люди земли», «подлинная демократия» постановили напечатать и распространить в миллионах экземпляров.

А 14 мая был опубликован «приказ» Керенского по армии — о наступлении. Собственно, это еще не был боевой приказ, а только подготовительная официальная прокламация... «Во имя спасения свободной России, — говорил в ней Керенский, — вы пойдете туда, куда поведут вас вожди и правительство. Стоя на месте, прогнать врага невозможно. Вы понесете на концах штыков ваших мир, правду и справедливость. Вы пойдете вперед стройными рядами, скованные дисциплиной долга и беззаветной любви к революции и родине»... Прокламация написана с подъемом и дышит искренним «героическим» пафосом. Керенский, несомненно, чувствовал себя героем 1793 года. И он, конечно, был на высоте героя Великой французской революции, но — не русской...

Керенский проявлял в то время изумительную деятельность, сверхъестественную энергию, величайший энтузиазм. Он, конечно, сделал все, что было в человеческих силах. И недаром холодный и неблагожелательный историк Милюков, на которого Керенский тогда работал, с оттенком умиления и признательности напоминает о «стройной фигуре молодого человека, с подвязанной рукой», появлявшейся то в одном, то в другом конце нашего необъятного фронта (казалось, во всех концах одновременно) и требовавшей великих жертв, требовавшей дани идеалистическим порывам от распущенной и равнодушной черни.

Керенский, одевший взамен пиджака в бытность министром юстиции темно-коричневую куртку, теперь сменил ее на светлый элегантный военного типа «френч». Чуть ли не все лето у него болела рука и, в черной повязке, придавала ему вид раненого героя. Что было у него с рукой — не знаю: я уже давно не разговаривал с Керенским. Но именно в таком виде помнят его десятки и сотни тысяч солдат и офицеров, к которым он — от Финляндии до Черного моря — обращался со своими пламенными речами.

Повсюду — в окопах, на судах, на парадах, в заседаниях фронтовых съездов, на общественных собраниях, в театрах, в городских думах, в Советах — в Гельсингфорсе, в Риге, в Двинске, в Каменец-Подольске, в Киеве, в Одессе, в Севастополе — Керенский говорил все о том же и все с тем же огромным подъемом, с неподдельным, искренним пафосом. Он говорил о свободе, о земле, о братстве народов и о близком светлом будущем страны. Он призывал солдат и граждан отстоять, завоевать все это с оружием в руках и оказаться достойными великой революции. И он указывал на самого себя как на залог того, что требуемые жертвы будут не напрасны, что ни одна капля крови свободных русских граждан не прольется ради иных, посторонних целей.

Агитация Керенского была (почти) сплошным триумфом для него. Всюду его носили на руках, осыпали цветами. Всюду происходили сцены еще невиданного энтузиазма, от описаний которых веяло легендами героических эпох. К ногам Керенского, зовущего на смерть, сыпались Георгиевские кресты; женщины снимали с себя драгоценности и во имя Керенского несли их на алтарь желанной (неизвестно почему) победы...

Конечно, немалая доля всего этого энтузиазма приходилась на долю буржуазии, офицерства и обывателей. Но и среди фронтовых солдат, в самих окопах Керенский достиг огромного успеха. Десятки и сотни тысяч боевых солдат на огромных собраниях клялись идти в бой по первому приказу и умереть за «землю и волю». Принимались об этом резолюции.

Армия, несомненно, была взбудоражена агитацией министра — «символа революции». Командиры воспрянули духом и провожали Керенского уверениями, что теперь армия оправдает надежды страны...

Уже 19 мая Керенский телеграфировал министру-президенту: «Доношу, что, ознакомившись с положением юго-восточного фронта, пришел к положительным выводам, которые сообщу по приезде. Положение в Севастополе весьма благоприятно»...

Были и шероховатости, притом существенные и знаменательные. О них речь будет дальше. Но были и основания для «положительных выводов» Керенского. Вся буржуазия встрепелась; ей вновь ударил в нос любезный запах крови, и вновь ожили уже почти оставленные империалистские иллюзии. Начало этому рецидиву шовинизма положила именно коалиция. И положение в связи с агитацией Керенского становилось нетерпимым.

Конечно, наступление само по себе — это есть военная «стратегическая» операция, не больше. Наступать или не наступать — это ведают командиры, «техники» военного дела. Если мы признаем существование войны, фронта, армии, если мы считаем желательной ее боеспособность, то мы признаем и возможность наступательных операций... Так, вообще говоря, рассуждали не только правые, но и интернационалисты, противники войны и нового правительства. И они, вообще говоря, были готовы, были согласны не мешать армии делать ее естественное дело, наступать против полчищ Вильгельма и Гинденбурга, при условии одновременной борьбы на внутреннем фронте против собственного империализма, против Милюкова и Алексеева — за всеобщий мир «без аннексий».

Но это — «вообще говоря». Сейчас же, в конкретных условиях коалиции, дело обстояло совершенно иначе. Сейчас наступлением ведали не Алексеевы и Брусиловы, а Милюковы и Керенские, не военные техники, а руководители «демократической политики». Сейчас наступление было не стратегической операцией, а центром политической конъюнктуры...

Вокруг наступления, по словам самих носителей власти, сложилась коалиция; в наступлении она видела свою центральную задачу, и только организацией наступления проявляло себя новое правительство. Сейчас нельзя было говорить, что военные операции не касаются борьбы рабочего класса за революцию и за всеобщий мир, и нельзя было вести эту внутреннюю борьбу независимо от наступления на внешнем фронте.

Сейчас отделить стратегию от политики можно было бы только при одном условии: если бы новое правительство, независимо от выполнения своих естественных обязанностей военными властями, прямо и решительно пошло бы по пути демократической внешней политики... Керенский в качестве военного министра был обязан создавать боеспособную армию и был прав, добываясь ее дисциплины и ее готовности к наступлению. Но Керенский в этой своей работе был бы неопасен для революции только тогда, если бы министр иностранных дел и вместе с ним все правительство не отставали бы

от военного министра на другом фронте — на фронте борьбы за мир. Только в этом случае стратегия не была бы политикой, а организация наступления не мешала бы коалиции быть правительством мира и демократии. Сейчас же приходилось ставить вопрос (как я его и ставил в новожизненных статьях): мир или наступление? И приходилось отвечать: коалиция есть правительство не мира, а наступления и затягивания войны, правительство буржуазии, империализма и удушения революции.

<...>

Почему на это пошла эсеровская часть «звездной палаты»⁶? Каким способом склонили Керенского думать о чем-нибудь, кроме репрессий, подавлений, разоружений, ликвидаций? Ведь он прискакал с фронта, видимо преисполненный только духа сокрушения, но не политического разума. И вдруг его заставляют заниматься высокой политикой и вместо «твердой власти» делать уступки демократии...

Объяснить это надо, на мой взгляд, только одним способом: Керенский в это время был убежден, что ему пора стать главой государства. И для него уступки демократии, нежелательные и «несвоевременные» сами по себе, были средством оказать такое давление на Львова, какого он, бог даст, не выдержит. Благодаря давлению слева должны начаться новые пертурбации в министерстве, и тут Керенскому не миновать поста премьер-министра...

Я полагаю даже, что именно эсер Керенский был прямым или косвенным инициатором левой кампании против Львова. Керенскому, при данном его настроении, не было никакого дела до контрреволюции и до борьбы с ней. Ему было интересно только вызвать перемены в правительстве и сконструировать собственный кабинет. Напротив, «звездному» меньшевику Дану надо было остановить реакцию. Что же касается перемен в правительстве, то ведь только что, два дня назад, Дан вместе с Церетели распинался перед всей революционной демократией о неправомерности решать эти вопросы до пленума ЦИК и настаивал на сохранении status quo как на последнем слове государственной мудрости. В этом смысле по инициативе меньшевистских лидеров состоялось постановление объединенных ЦИК. А теперь вдруг кампания против Львова!

Конечно, тут мог «намутить» только Керенский. Ведь до сих пор «звездная палата» вела свою кунктаторскую линию⁷ в его отсутствие. Керенский приехал и толкнул «звездную палату» на путь немедленных перемен в структуре власти. Большевики, соблюдая равнение налево, соблазнились, согласились. И все хитроумные

теории о неправомотии ЦИК, о невозможности создавать власть среди пальбы, под давлением улицы, в 24 минуты полетели к черту...

<...>

Да, имеют герои свою судьбу!.. Демократия была для Керенского абсолютной ценностью. Он искренне видел в ней цель своего служения революции. Он самоотверженно служил ей при царском самодержавии. Начиная с эпохи возглавления им полулегальных кружков, когда Керенский волею судеб был главным открытым выразителем всего скрытого, подпольного движения, и до сих пор, до эпохи возглавления им правительства и государства, Керенский являлся миру в образе пламенного поборника и — если угодно — поэта демократии... Ныне, после июльских дней, Керенский стал главой правительства и государства. И эта эпоха — эпоха, называемая его именем, именем «керенщины», — была эпохой разложения, удушения, гибели демократии. Керенский был тут главным, самым активным и самым ответственным героем.

Не в добрый час началось его премьерство и не добром оно кончилось. Оно началось под знаком контрреволюционных потуг и покушений. Эти покушения не удались: революция сохраняла еще слишком много накопленных сил, а у плутократии не было ничего, кроме ярости, клеветы и жалких, распыленных обрывков царизма. Контрреволюция не удалась во время июльской смуты. Но наступила прочная, упорная, глубокая реакция.

Эта реакция была и раньше. Уже два месяца назад, с началом первой коалиции, революция после некоторых зигзагов и колебаний вышла на прямую дорогу деградации и упадка. Но до сих пор этот процесс имел пассивный характер; теперь, при Керенском, реакция стала активной. До сих пор реакционные классы оборонялись; теперь буржуазный блок перешел в наступление. Раньше, до июльских дней, реакция выражалась в свободе саботажа, в невозбранном пренебрежении нуждами революции; сейчас, при Керенском-премьере, началась действенная ликвидация рабоче-крестьянских завоеваний. Правительство цензовика Львова вело с революцией борьбу на истощение; правительство демократа и социалиста Керенского повело эту борьбу на сокращение... <...>

При таких условиях естественно и неизбежно на очередь становился вопрос о диктатуре. Естественно и неизбежно — не только у буржуазной, но и у советской части коалиции возникло неудержимое стремление к сильной власти. Диктатура была объективно необходима... Вопрос был только в том, какая именно диктатура требовалась при данных условиях?..

Сейчас, когда носителем государственной власти являлся Керенский, речь могла идти только о буржуазной диктатуре. Если бы при данных условиях установилась диктатура, то по своей круто наклонной плоскости она мгновенно скатилась бы к неограниченному господству плутократии. Но тут возникал другой вопрос: возможна ли при данных условиях действительная диктатура Керенского, прикрывающего плутократию? Удастся ли установить подобную диктатуру?

При всем стремлении к полноте власти проблематичность этого не скрывал от себя и сам Керенский. По возвращении из действующей армии он говорил журналистам: «Главной задачей настоящего времени, исключительного по тяжести событий, является концентрация и единство власти... Опираясь на доверие широких народных масс и армии, правительство спасет Россию и скует ее единство кровью и железом, если доводов разума, чести и совести окажется недостаточно... Вопрос, удастся ли это?» ...

Да, это был вопрос... Но как бы то ни было, Керенский был, конечно, главным застрельщиком в попытках реализовать диктатуру новой коалиции и вполне развязать руки самому себе. При этом, с точки зрения Керенского, связывал руки и «путался в ногах» именно Совет, и именно от этой «частной» и классовой организации надо было освободиться сильной власти; ведь черносотенный думский комитет, состоявший из «представителей всех партий», был, конечно, учреждением внеклассовым и притом вполне официальным. Правда, Всероссийский съезд Советов, который не решился поднять руку на Государственную думу, постановил распустить думский Комитет. Но не все ли равно, что постановил Всероссийский съезд! Во всяком случае, Керенский в эти дни являлся в думский Комитет, чтобы заимствовать оттуда благодати, и имел с Родзянкой продолжительную беседу — по словам газет — «чрезвычайной государственной важности». Боевым лозунгом Родзянки ведь тоже была «независимость государственной власти», то есть независимость ее от большинства населения, от советской демократии...

Прочие «общественные» слои консолидировались в кадетской партии и ею возглавлялись. Эта партия, как известно всем, была также надклассовой, общенародной. Зависимость правительства от этой партии не могла при таких условиях быть вредной. Но, разумеется, со своей стороны Милюков с друзьями настаивали в первую голову на независимости власти. То есть вся российская «революционная общественность» требовала от Керенского самым решительным образом, чтобы он освободил власть от влияния Совета. А не такой

человек был Керенский, чтобы не внять голосу этой общественности и не подчиниться ему.

И в результате через три дня после назначения Керенского премьером «звездная палата» выступила перед ЦИК с требованием диктатуры.

<...>

Послеиюльское правительство Керенского было бутафорской диктатурой буржуазии. Но буржуазия нуждалась в своей диктатуре — не бутафорской, а реальной. Этого мало. Керенский был «социалист»; его кабинет включал в себя едва ли не большинство бывших «неблагонадежных» людей, далеких от биржи, мелкобуржуазных интеллигентов, и разорвать последнюю ниточку, протянутую из смольных антигосударственных сфер, глава правительства так и не решался. Это не годилось. «Речь» ворчала: какая же тут дружная общенациональная работа? Какое тут может быть «примирение», если Советы все еще твердят о программе 8 июля, а правительство их слушает?

Это не годилось. Нужна была диктатура, во-первых, реальная, а во-вторых, — под собственной, вполне благонадежной фирмой. Что в самом деле за марка — Керенский — для русской буржуазной государственности, освобожденной, наконец, от оков распутинского царизма? Конечно, мало ли с чем приходилось раньше мириться! Но ведь сейчас организованная демократия, владевшая всей реальной силой, удушила себя сама во имя «идеи» буржуазной революции. Сейчас советская реальная сила распылена между Советом и восстающими против него большевиками. Сейчас советская армия не боеспособна на внутреннем фронте. А большевики так опростоволосились в июльские дни, что создали густую реакционную атмосферу среди обывателя. Сейчас условия благоприятны, как никогда. Надо действовать, и притом скорее.

Сознательная буржуазия в лице легиона ее военных и штатских лидеров стала действовать тут же после «июля», с самого возникновения бутафорской «сильной власти» третьей коалиции. В немногие недели были достигнуты большие успехи. Ведь старому думскому «Прогрессивному блоку» — «конституционным» помещикам, биржевым тузам и генералам — не приходилось спорить о программе, о целях «выступления». Ясна была и «тактика», метод действия, уже описанный выше. Было ясно, во-первых, что реальная сила, необходимая для *coup d'état* [государственный переворот (*фр.*)], может быть почерпнута только из армии, а следовательно, формальным инициатором переворота, официальным носителем диктатуры может быть только тот или иной военачальник. Было ясно, во-вторых, что все дело переворота можно успешно довести до конца только под

видом, под флагом, под соусом внешней опасности, «патриотизма», обороны страны, восстановления боеспособной армии... Все это было ясно без лишних слов. Можно было прямо переходить к делу.

Генерал Корнилов был с этой точки зрения крайне удачным выбором Керенского в верховные главнокомандующие. В общественных отношениях или, как говорят, в политике этот боевой «солдат» не понимал ничего ровным счетом. Следовательно, этот обладатель реальной силы был ни в какой мере не опасен ни Родзянко, ни кадетам, ни биржевикам. «Общественные круги» могли вертеть реальной силой, вместе с ее обладателем, как им было угодно. Но, с другой стороны, генерал Корнилов был человек решительный, мужественный, хотя и слишком экспансивный. Он был способен пойти на большую игру и постоять за себя, когда потребуется. А, кроме того, в качестве царского генерала и в качестве солдата-патриота он был «хорошо» настроен по отношению к «социалисту» Керенскому, не говоря уже о «советах и комитетах». <...>

Из Петербурга, из Смольного, прибыли парламентареры. Но они разговаривали не в залах дворца, не с Керенским и не с Красновым. Они атаковали казацкую массу и легко достигли своих целей... В качестве парламентарера явился известный нам матрос, ныне морской министр Дыбенко. Огромный, чернобородый, красивый, веселый человек — он без труда нашел надлежащий тон в беседе с казаками. По словам Краснова, он в мгновение ока очаровал не только казаков, но и многих офицеров.

Чего он требовал? Официально он также явился с предложением перемирия. Но, разговорившись, он очень быстро перешел к существу дела: выдайте Керенского!.. Дыбенко сыпал шутками и предлагал Керенского поменять на Ленина.

После всего происшедшего для бедных казачьих мозгов это было непосильным испытанием. Что им Керенский? Не с ним ли вышла у них грязная история несколько недель назад? Скажут ли о нем хоть одно доброе слово их собственные командиры? А ведь большевики предложили мир. Большевики обещают через неделю отправить их на родной Дон. И, кроме того, за Керенского получают Ленина, которого тут же повесят.

Казачьи бросились к Краснову. Выдадим!.. Краснов, по его словам и вопреки утверждениям Керенского, убеждал, усовещал и прогнал казаков. Но дело было плохо. Керенский, одиноко сидя в дальних покоях дворца, чуял правду. Силы и мужество оставили его. Бледный, растерянный, он обращался к Краснову:

— Меня выдадут?!

Краснов ходил, высматривал, разузнавал... К вечеру он сказал Керенскому:

— Из дворца есть выход, который никем не охраняется. Там будет ждать автомобиль.

Казачи приняли окончательное решение. Или просто к гатчинскому дворцу подоспела вооруженная группа рабочих и матросов. Вместе с ней был и Троцкий... Керенского искали по всему мрачному и унылому дворцу. Но не нашли. Керенский бежал в автомобиле. Под вечер, в солдатской шинели и фуражке, через толпу, заполнявшую двор и стоявшую в воротах, Керенского вывел мелкий авантюрист и будущий крупнейший эсеровский провокатор Семенов⁸, состоявший в каком-то качестве при войсках нашего Бонапарта в момент его Ватерлоо.

Так кончились исторические «дела и дни», так кончилась замечательная политическая карьера бурного темпераментом, слабого духом, расхлябанного русского интеллигента, искреннего демократа, театрально-шумливого, но бессильно-неумелого диктатора, присяжного поверенного Керенского. Это был позорный финал. Керенский пожал то, что посеял... Его личность не заслуживала такой судьбы.

Ликвидацией Керенского был завершен октябрьский переворот. Москва еще была полем ожесточенной битвы. Враги и сторонники военного разгрома большевиков еще далеко не сложили оружия. Но сейчас в Смольном была единая и нераздельная власть республики. Ее вооруженные враги стали мятежниками — бесспорно и безусловно...

Переворот, поставивший во главе первоклассной мировой державы пролетарскую партию, был закончен. Открылась новая страница в мировом рабочем движении и в истории государства российского.

